

# Гороушна



Павел Булкин

Павел Булкин

**Гороушна**

«Автор»

2026

## **Булкин П.**

Гороушна / П. Булкин — «Автор», 2026

Гнёздово X века — тесное горло великого торгового пути, где люди привыкли побеждать мир силой, скоростью и яростным пламенем. Но что делать, когда жизнь сталкивает тебя с чем-то по-настоящему диким, непокорным и сложным? Притча расскажет о поиске правильного подхода к тому, что кажется непреодолимым. О важности свежего взгляда на привычные вещи, которые мы разучились замечать в повседневной суете, о ценности неспешности и терпения. Ведь терпение — это не бездействие, это самая тяжёлая и важная работа на свете. Исторический рассказ для тех, кто не боится ни говяжьих жил, ни тихих углей.

© Булкин П., 2026

© Автор, 2026

## Павел Булкин

### Гороушна

*Тепло. Снизу, от очага, и сверху, от собственной шкуры. Хорошее тепло, честное. Не южное, которое лезет в пасть и не даёт дышать, а северное, ручное: лежишь рыжим калачом на утоптанной глине, и оно поднимается через брюхо к носу. Нос не спит никогда. Даже когда всё остальное обмякло и поплыло, нос сидит на посту, как тот, кому не платят, но кто всё равно стоит у ворот, потому что иначе — кто?*

*Девчонка прикидывает, как резать. Стоит над тушей, рукава уже закатаны, нож в руке держит правильно — крепко, у самой пяты, отец научил. Сейчас начнёт. Сейчас сделает всё, как делала сто раз, — быстро, ловко и совершенно мимо.*

Гнёздово стояло там, где земля сама перехватывала себя в поясе. Две большие реки, разбежавшиеся к разным морям, в самых своих верховьях сходились ближе всего тут — да так и не сливались: одна, Двина, уводила к закату, к студёным варяжским водам; другая, Днепр, тянулась на полдень, в тепло, к грекам; а между ними оставалась узкая сухоходльная перемычка, которую вода не одолела за все века.

Чего не одолела вода, одолевали люди: тут ладьи вытаскивали из реки на катки и волокли посуху до другой воды — с днепровского ската на двинский, с пути в греки на путь к варягам и обратно. И оттого место это, само по себе пустое, никакое — низкий берег, ольшаник, мокредь, — стоило дороже иных княжьих столов. Перемычка была застёжкой, на которую сходились две половины тогдашнего света: север и юг, мех и серебро, лёд и виноград. А застёжку всегда держит чья-то рука.

Внизу, у самой воды, лепился посад — клети, амбары, дворы, корчма, прокопчённые мастерские, где били серебро да тянули проволоку, ковали, лили, резали кость и рог; пахло там углём, кожей, рыбьим клеем и тем кислым жильём, что не выветривается, сколько его ни студи. Выше, на гриве, за валом и тыном, сидело городище — двор большой дружины, длинный дом, костры; оттуда правили перемычкой, оттуда выходили на тропу — стеречь волок и брать своё с каждого, кто полз с грузом мимо. А ещё выше, на сухих холмах, поодаль от живых, теснился третий город — насыпной, безмолвный: курганы. Город живых жался к воде; город мёртвых глядел на него сверху. И оба год от года прибывали.

Народу тут толклось — всех кровей. Русь и свеи, кривичи да весь, грек-перехожий, болгарин с Волги, степняк в чужой шапке; говорили вперемешку, на десяти языках разом, а сходились на одном — на весе серебра, на счёте мехов, на том немом наречии торга, что понятно и без толмача. Сюда стекалось дальнее и здесь делалось домашним, не переставая быть чужим: заморская бусина в косе у девки, рубленный пополам арабский дирхем на ладони у смерда, тёплое южное вино в стылом северном погребе. Всё Гнёздово было такое — своё, насквозь проросшее привозным, да так давно и так густо, что уже и не разобрать, где кончается родное и начинается заморское.

А держалось всё это на одной воде — покуда она шла. Сойдёт лёд по весне — потянутся ладьи, потечёт через перемычку серебро, оживёт торг, сядут на тропу дружинники. И каждую осень, на самом её сломе, всё Гнёздово — от княжьего двора до последнего пса у корчмы — охватывала одна общая, нутряная забота: успеть. Покуда идёт вода.

Река осенью замолкает первой. Не лёд ещё — до льда недели три, а то и месяц, — но что-то в ней уже меняется, какая-то торопливость уходит из воды, и Днепр под Гнёздовом течёт

медленнее, гуще, будто и сам понимает, что скоро вставать на всю долгую белую скуку. Купеческие ладьи, что всё лето шли мимо — с севера на юг гружёные мехами, воском, товаром на продажу, с юга на север серебром, шёлком, тем горьким и сладким, чему Марислава и названия-то не знала, — теперь шли реже, и каждая торопилась проскочить волок, пока вода не встала. Кто не успеет — зазимует тут, у чужого огня, и будет до весны пить, и врать, и драться, и снова пить. Гнёздово к зиме разбухало чужими, как разбухает дерево к дождю.

Их двор стоял высоко, над поймой, у самого начала перетаски — там, где лодки вытаскивали из воды и волокли посуху к другой реке. Удобнее места не было во всём свете. Отец так и говорил: «Бог поставил, не я». И смеялся при этом тем коротким смехом, каким смеются люди, которые отлично знают, что Бог тут ни при чём, а при чём конь, меч и три-четыре дружка, готовых стоять на тропе, пока ползёт гружёная ладья.

Отец вернулся с тропы под вечер. Дочь услышала его раньше, чем увидела: тяжёлый, чавкающий по грязи шаг, фырканье коня, голоса — два или три, мужские, простуженные. Потом скрипнули ворота, и через порог двора перевалилось что-то большое, мокрое, бурое, и шлёпнулось на утопанную землю с тем сырым, окончательным звуком, с каким падает только мёртвое и тяжёлое.

— Прибери, — бросил отец, не слезая с коня. — Кабан.

Он был забрызган до пояса — той осенней грязью, что не отстирывается, а только сходит сама, со временем, как сходит загар. От него пахло конём, мокрой шерстью, железом и чем-то ещё, кисловатым, чужим — Марислава знала этот запах, это был запах тропы, запах долгого стояния на холоде в ожидании, когда покажется лодка. Чем там кончилось сегодня — заплатили ли проходившие по-доброму, или пришлось показать, что бывает с теми, кто не платит, — она не спрашивала. Этого в их доме не спрашивали. Это просто оседало: то кулёк соли у порога, то связка беличьих шкур, то вот — кабан, которого кто-то добыл, а добычей поделился, потому что отец стоял на тропе, а тропа была отцова.

Отец развернул коня и уехал к своим — туда, где у длинного дома уже разводили огонь и где сегодня собирались пить за то, что вода ещё не встала и лодки ещё идут.

Марислава осталась с кабаном. Зверь был хорош. Даже в смерти, даже бурым кулём в грязи он был хорош — длинный, поджарый, не то что заплывшая салом дворовая свинья; ноги сухие, жилистые, рыло вытянутое, и клык, торчащий из-под верхней губы, жёлтый, кривой, сточенный с одного бока. Она присела, оглядела.

Руки уже знали, что делать. Руки в этом доме всегда знали, что делать: мяса через их двор проходило столько, что Марислава умела разделать тушу прежде, чем научилась толком заплетать косу. Палить да резать на дворе, у поленницы, как делала всегда, нынче не тянуло: стемнело совсем, и с реки наносило таким холодом, что зуб не держался за зуб. Она ухватила кабана за задние ноги и волоком, упираясь пятками в мёрзлую землю, втащила его через порог в избу — в тепло, к очагу, где огонь уже взялся и где всё, что нужно для дела, лежало под рукой.

Тут была её кухня, её угол, знакомый вслепую: соль, серая, комьями, в лубяном коробе у стены; связки сушёных трав под потолочной балкой; мёд в липовой кадке; крынка кислой сыворотки в холодке у двери; репа в углу, в песке. Дом был полон — так полон, что девушка этого уже не замечала, как не замечают воздух. Она подгрестила тушу ближе к свету, закатала рукава, взяла нож — крепко, у самой пяты, как отец показал, ещё когда она была от горшка два вершка, — и наклонилась, поднося к щетине горящую лучину от очага.

— Не так.

Марислава не обернулась. Рыжий приبلудный пёс, сошедший по весне с варяжской ладьи и с тех пор живший у них, как живёт у людей кошка: ничей, сам по себе, является и исчезает, когда вздумается, и почему-то всегда оказывается там, где готовят, — лежал у очага и, видно, лежал давно. Поначалу она его гнала. Потом перестала — он гнался плохо, не уходил, а отступал ровно на два шага и садился, глядя так, будто это она тут лишняя. К тому, что он разговаривает, она привыкла не сразу. Но привыкла. К этому почему-то привыкаешь.

— Чего «не так»? — Марислава всё же поднесла горящую лучину к боку. Щетина занялась, затрещала, поплыл едкий, привычный дух палёного волоса. — Палю, как всегда палю. Свиныю так палю, и эту спалю.

— В том и беда, что как свиныю. — Пёс поднялся, потянулся, подошёл ближе — невысокий, рыжий, с той асимметрией в ушах, от которой казалось, будто одну бровь он держит вечно приподнятой. Сел у туши, потянул носом — деловито, длинно, как тянет купец, оценивая товар. — Свиныю ты знаешь. Свиныя выросла у тебя на глазах, ела, что дали, лежала, где положили, и мясо у неё ровное, понятное, безмятежное, как сама её жизнь. А это, — он повёл носом вдоль бурого бока, — это не свиныя. Это зверь, который всю жизнь бегал, дрался и боялся. И мясо у него такое же: жилистое, злое, помнящее. Свиныю можно бросить на огонь и не думать. А этого бросишь — получишь камень. Будешь жевать до весны.

Девушка выпрямилась. В груди шевельнулось то знакомое, что шевелится у всякого мастера, когда ему лезут под руку.

— Это кто ж меня учить будет, как мясо готовить, — произнесла она ровно, без злости пока, но уже с той прохладцей, на которой злость хорошо настаивается. — Пёс? Пёс, который мясо только с одной стороны видел — со стороны зубов?

— С самой честной стороны, между прочим, — невозмутимо отозвался рыжий.

Он не спорил дальше. Он вообще, заметила Марислава, никогда не спорил долго в лоб — он делал хуже: умолкал и подсовывал что-нибудь маленькое, проверяемое, от чего потом некуда деться.

— Переверни-ка его на бок, — обронил он будто между прочим. — И пощупай правый окорок, повыше, под кожей. Там у него старая рана. Зарубцованная. Этот кабан в позапрошлую, должно быть, зиму подрался — с другим секачом или с собаками, неважно, — и мясо в том месте срослось на узел, жёсткое, как корень. В котёл его не клади. Зря потратишь дрова и время.

Марислава хотела сказать, что это вздор. Что нельзя учуять старую рану через шкуру и сало. Но рука её — отдельно от обиды, отдельно от слов — уже легла на правый окорок и прошлась по нему, проминая. И там, повыше, под кожей, пальцы наткнулись на это: твёрдый, бугристый узел, чужой среди ровной плоти, рубец, заросший вглубь, — старая беда, которую зверь зализал и с которой ходил, пока его не свалила другая. Она помолчала. Потом, не глядя на пса, перевернула тушу обратно.

— Как? — пробормотала она.

— Это опыт, — легко бросил корги, и в карих глазах его на миг блеснуло золотом — то ли отсвет лучины, то ли что-то своё. — Какая тебе разница, чем я понял, если узел там, где я сказал? Ты сейчас как те, что у нас тут лодки тянут: им важнее, кто пошлину выдумал, чем то, что её всё равно платить. Узел есть. Я его назвал. Остальное — твоя гордость, ею кашу не заправишь.

Марислава вздохнула — не то сердито, не то невольно. И снова взялась за нож.

А четвероногий гость, выждав ровно столько, чтобы пауза улеглась, сел поудобнее, аккуратно подобрал хвост и заговорил тем особым голосом — размеренным, чуть отстранённым, каким, она уже знала, он подбирался к чему-нибудь для себя выгодному.

— Вот что я тебе скажу, как друг и знаток, — начал он. — Раз уж тот окорок с узлом в дело не годится — а он не годится, ты сама пощупала, — то и возиться с ним незачем. Жилы, рубцы, всякая жёсткая мелочь, обрезки, что под нож попадут, — это ведь только мешается. Хорошая хозяйка стол держит чистым: что не идёт в котёл, то надо сразу убрать. В надёжное место. Чтоб под рукой не путалось и тебя, мастерицу, не отвлекало от важного.

— В надёжное, — эхом отозвалась Марислава.

— В самое надёжное, — подтвердил пёс с глубокой серьёзностью. Он смотрел не на неё — на тушу, и кончик носа у него подрагивал. — Я тут как раз поблизости. Можно сказать, при деле. Если хочешь, я возьму на себя эту доуку. Совершенно бескорыстно. Из одной любви к порядку.

Она медленно повернула голову и посмотрела на него сверху вниз. Корги сидел прямой, торжественный, с мордой такой честной, что честнее не бывает, — и именно эта честность всё и выдавала, как выдаёт распахнутая настежь дверь, что в доме как раз не всё ладно.

— Из любви к порядку, — сказала она.

— И к тебе, — добавил корги, не моргнув. — Не без этого.

Марислава поняла, что улыбается, и рассердилась на себя за это, и от этого улыбнулась шире. Она ещё не знала — вечер только начинался, лучина едва прогорела, кабан лежал нетронутый, — что эта рыжая, коротколапая, нахальная морда успеет к ночи заговорить ей зубы. Пока что она знала одно: пёс хочет мяса. И почему-то — она и сама не понимала почему — слушать его было интереснее, чем гнать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.